



Б. М. ЭЙХЕНБАУМ

Новые стихи Н. Гумилева *

Кому же из современных поэтов наших, как не Гумилеву, славить «дело величавое войны»? Ведь это он —

С надменной улыбкой, с весельем во взорах
И с сердцем открытым для жизни бездонной¹.

Но муза Дальних Странствий, с ее огнедышащими беседами, изменила ему, — но не потому ли, что он сам изменился? Пала преграда между ним и «жизнью современной», в которой он чувствовал себя прежде, как «идол металлический среди фарфоровых игрушек». Победа, слава, подвиг — милые ему и недавно еще затерянные слова — снова найдены и гремят в душах. Теперь ему незачем быть ироничным и сухим, но не стал ли стих его трагическим?

Я помню, как в первом номере маленького и мало кому известного «Гиперборея» (1912 г.) Сергей Городецкий негодовал на Н. Гумилева за его неожиданную и эксцентричную для акмеиста любовь к смиренному художеству Фра Беато Анжелико. С пафосом правоверного и грубо-прямолинейного жреца Городецкий восклицал:

О, неужель художество такое,
Виденья плотоядного монаха,
Ответ на все, к чему рвались с тоскою
Мы, акмеисты, вставшие из праха?
Нет, ты не прав, взалкавший откровенья!
Не от Беато ждать явления Адама.
Мне жалко строгих строф стихотворенья,
В которых славил ты его упрямо².

* «Колчан». Изд. «Гиперборей». Петроград, 1916 г. Ц. 1 р. 25 к. (прим. авт.).

И правда, не совсем по-акмеистски звучит последняя строфа оды Гумилева:

Есть Бог, есть мир — они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога³.

Акмеист, «взалкавший откровенья» и возлюбивший «смиренную простоту» Фра Анжелико выше страшного совершенства Буонаротти и колдовского хмеля да-Винчи... Да, это могло казаться упрямой прихотью. На самом деле, здесь было нечто большее.

В новом сборнике Гумилева есть поэма, скромно названная «Пятистопные ямбы». Она в числе немногих датированных пьес, и самая дата выделяет ее из числа других: 1912—1915 гг. Это стихотворение, кажется мне, можно рассматривать как поэтический итог пережитого, как поэтическую оценку пройденного пути. Вот он — в морях «под знаком Южного Креста»; стиль этих строф вычурен и риторичен — ночь, как «черная наяда», встречные суда мгновенно берет темнота, они не остались «в бухте необманной», и далекий от Европы путник по-европейски жалеет,

Что дон Жуан не встретил донны Анны,
Что гор алмазных не нашел Синдбад
И Вечный Жид несчастней во сто крат.

Право, здесь позволительно было бы и забыть об этих романтических фигурах. Но, возвращаясь назад, поэт, вместе с клыками слонов и мехами пантер, везет тот же европейский груз, который когда-то обременял душу Чайльд-Гарольда: «Презрение к миру и усталость снов». Он стал другим:

Я молод был, был жаден и уверен,
.....
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась...

Она, для которой он искал «нетленный пурпур королевских мантий» (это ли не риторика?), отреклась, ушла. И вот, в реве толпы, в гуденье проезжающих орудий он «вдруг услышал песнь моей судьбы». Так ринулся он в бой — усталый, разочарованный, одинокий. Его приняли, дали винтовку, дали коня, дали поле, «полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих».

И вот, поэтический словарь Гумилева меняется. Конец поэмы насыщен, даже с некоторым излишком, молитвенными выраже-

ниями, а заключительная строфа полна такой экзальтации, которая может показаться совершенно неожиданной в его творчестве для того, кто не вспомнит, что он предпочел чистые краски Анжелико. Душа, *обожженная* счастьем ратного дела, беседует со звездами о Боге:

Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.

Это ли прежний акмеист, славивший пути конквистадоров и преданный горделивой Музе Дальних Странствий? И право, он, как неофит, не знает меры новым словам (чувство меры вообще не свойственно его поэзии), когда говорит о своей душе:

Честнейшую честнейших херувим,
Славнейшую славнейших серафим,
Земных надежд небесное Свершенье,
Она величит каждое мгновенье
И чувствует к простым словам своим
Вниманье, милость и благоволенье.

Есть люди, которые не любят слушать церковную музыку в концертном зале... Но если это — не просто словесная прихоть, то не знаменательны ли последние строки поэмы о том, что «*есть на море пустынном монастырь из камня белого, золотоглавый*»? И не удивителен ли конец?

Туда б уйти, покинув мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь...
В тот золотой и белый монастырь.

И это — не случайная мечта, не единственное искушение: еще в падуанском соборе, слушая, как растет и падает напев органа, «как будто кровь, бунтующая пьяно в гранитных венах сумрачных церквей», он напрягал все усилия, чтобы уйти, но —

Готические башни, словно крылья,
Католицизм в лазури распростер⁴.

Так вот как подготовлялось его славословие войне, вот почему его «военные» стихи приняли вид псалмов об «огнезарном бое»⁵. Он и здесь неудержим в своем тяготении к большим словам: серафимы за плечами воинов, обращения к Господу, чтобы Он благословил «подвиг сеющих и славу жнущих», солнце духа, которое «благостно и грозно разлилось по нашим небесам», древо духа, с которого люди скоро снимут «золотые, зрелые пло-

ды», — с такими словами надо быть осторожнее: они слишком торжественны и однозначны сами по себе, они слишком дороги всем людям, ими поэт и облегчает свою поэтическую задачу, и умалывает ее⁶. Но не знаменательно ли самое стремление поэта — показать войну, как мистерию духа?

Стиль Гумилева как-то распатался, оттого так *чрезмерны* его слова. Они гудят, как колокола, заглушая внутренний голос души. Оттого он иногда бессилён в эпитетах: право, слишком мало назвать Русь «таинственной» и слишком вычурно — «волшебницей суровой»⁷. Русь пока не дается Гумилеву, «чужое небо» было ему свойственней. Он говорит о ней знакомыми словами — не то Блока, не то Белого:

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...

В творчестве Гумилева совершается, по видимому, перелом — ему открылись новые пути. Недаром грустью овеяны его итальянские стихи, недаром срываются горестные афоризмы: «Все проходит, как тень, но время остается, как прежде, мстящим»⁸, «правдива смерть, а жизнь бормочет ложь», недаром аттические выси воспеты им так скорбно:

Печальный мир не очаруют вновь
Ни кудри душевные, ни взор призывный,
Ни лепестки горячих губ, ни кровь,
Стучавшая торжественно и дивно⁹.

И, наконец, недаром совсем трагическим, совсем необычным становится стиль Гумилева в стихотворении, которое кажется мне наиболее цельным, наиболее напевным из всего сборника:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что влюбил и сушу, и море,
Весь дремучий сон бытия¹⁰.

Это ли не измена Музе Дальних Странствий? Он раскаивается, что влюбил сушу и море. Жизнь предстала ему, как дремучий сон бытия — это ли словарь акмеиста-конквистадора?

Поэтический «колчан» Гумилева обновился — стрелы в нем другие. Но нужен ли ему теперь этот колчан? Не уместнее ли иной

образ? Ведь стрелы эти ранят его собственную душу. И если Гумилев правда «взалкал откровенья» и «безумно тоскует», если он и в самом деле видит свет Фавора, то что-то должно измениться в самом его словоупотреблении. Пусть душа его, правда, почувствует «к простым словам вниманье, милость и благоволенье». Тогда мы поверим ей и ее новым видениям.

